

18+



Алла Плотникова Стас Серов

О литейном заводе ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО

Роман

Алла Плотникова

**О литейном заводе
замолвить слово. Роман**

«Издательские решения»

Плотникова А.

О литейном заводе замолвить слово. Роман / А. Плотникова —
«Издательские решения»,

Генрих из династии кузнецов, прошедший путь от секретаря комсомольской организации завода до председателя исполкома, мечтал стать летописцем Песковского литейного завода. Для этого по крупицам собирал как документальные свидетельства, так и устные байки. Он пытался показать завод как главного персонажа романа, который заставлял о себе говорить и считаться с собой.

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Кузьма и Евдокия	10
Глава 2. Трудна ты, роль летописца	14
Глава 3. О становлении завода	20
Глава 4. О чём бы ни шёл разговор	25
Глава 5. На годовщину	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

О литейном заводе замолвить слово Роман

**Алла Плотникова
Стас Серов**

© Алла Плотникова, 2026

© Стас Серов, 2026

ISBN 978-5-0071-3181-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Генрих Утемов уже переступил порог своего тридцатилетия, когда решил заняться историей Песковского завода.

Мысль эта зародилась в нём после прочтения книги очерков «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму»¹.

Поначалу отважился замахнуться на очерк. Но по мере того как накапливался материал, он робко и боязливо, как бродячая собака к протянутой руке, начал подкрадываться к мечте о написании книги, целого романа.

Первые шаги, готовый в любую секунду отпрыгнуть, он проделывал с осторожностью, подолгу принохиваясь, то и дело замирая. Почему-то ему казалось, что его высмеют не только коллеги, жители посёлка, но даже жена и дети: «Батя-то наш, хорош, кувалду на перо променял», — скажут они, а жена добавит: «Не дурак: слова склонять — это тебе не железки вертеть!»

И Генрих помалкивал о своей боязливой, как бродячая псина, мечте. На вопросы, что он там строчит, запершись в кладовке, отвечал: «Очерк пишу для газеты. По краеведению. В исполкомы спустили распоряжения. Кому поручить? Некому. Деваться некуда, вот и пишу».

Сам же, стараясь выстроить что-то, хоть отдалённо напоминающее художественное произведение, изводил все свои вечера на сыновних тетрадах исполкомовские запасы чернил.

Но потомственный кузнец смолоду делом демонстрировал чувства свои и мысли, и к журчащей речистости относился почти с безразличностью: «Болтовня — это бабское. Мужуку трепаться попусту не фасон. Если сказал — делом подтверди, а не уверен, — не брякай. Если за бабу сойти не желаешь». Этому выучил дед внука ещё в детстве, и Генрих с годами не позабыл наставлений. Если что-то скажет, то считай — отрезал. Для жизни это не плохо, а вот для художественного произведения — не годится. Так ещё и в низенькой кладовой богатырского сложения мужчина и выпрямиться в полный рост не мог, затекали от долгого сиденья на маленьком стульчике не только ноги, спина, шея, но и мысли.

Генрих Утемов весь день выдумывал, как бы решить самые разные жалобы, просьбы, требования людей, которые бесконечной очередью шли к нему со своими бедами.

Основной задачей председателя было налаживать связи между предприятиями, которых тогда в посёлке много было, но как отказать землякам в помощи — вот они порой, бессовестно пренебрегая широтой кузнецкой души, случись что, бежали за помощью.

У кого-то муж кулакам волю даёт — нужно бежать к Утемову, он устроит выволочку так, что буян позабудет не то что как драться, имя своё. Жена загуляла — тоже к Утемову, образумит распутницу.

Корова подохла, сгорел сарай, квартиру затопили, дом покосился, огород зарос хреном — конечно, к Утемову, он разберётся, если нужно, помощь выпишет.

Жениться решили вчерашние школьники — к Утемову. Он поговорит, повертит со всех сторон. Посчитает правильным — тут же распишет. А нет — по домам подрастать, к мамам с папами, отправит. Развестись — ну, а куда ещё, к Утемову, он правильно всё обыграет.

Получить стройматериал, выписать двигатель для лесопилки, очередь занять на автомобиль, выбить участок — к Утемову.

Хорошо хоть детей крестить не приносили, но это, наверное, потому, что пиджак, а не русскую рубаху носил.

Однако до смешного всё равно доходило. Однажды дети, закадычные подружки, Катя и Марина принесли ёжика со сломанной лапкой.

¹ Сборник воспоминаний первых комсомольцев. Кировское книжное издательство, 1958 г.

— Девочки, да что ж я с ним делать буду? Несите. Не знаю. В больницу что ли.

Но две зарёванные третьеклашки, заикаясь, рассказывали, что от ёжика отказались везде, куда бы не несли, и в больнице тоже.

Сейчас, конечно, трудно представить, но под занавес шестидесятых председатель исполкома заседал в небольшом деревянном здании, где теснились всего три кабинета и каморка с окном для выдачи зарплат.

У кабинета Утемова заседала секретарь Вера Петровна, женщина добрая и душевная, да в любом случае, летом двери в кабинет председателя вовсе не закрывались, да и зимой почти всегда оставались открытыми. О том, чтобы на входе дежурил охранник, никто и не мыслил. Зачем охранник, от кого оборонять, от людей, во благо которых трудишься? Безумие.

Ну, а если набьют морду? Значит — плохо работаешь и не место тебе в председательском кресле. Хотя и кресла никакого не было: обычный стул, обычный стол, графин с водой, портрет Ленина за спиной и желание сделать жизнь лучше, комфортнее, легче не только для односельчан, но и для всех советских людей. Звучит в наш-то век пафосно и даже как-то приторно, однако совсем недавно, на середине двадцатого столетия, никто и не думал, что жить можно иначе.

Генрих Утемов за песковчан, работающих и не работающих на предприятиях, за каждого бился, как за брата родного, не жалея ни кулаков, ни клыков. Если нужно, отправлял запросы, жалобы, требования. Не помогало: лично ехал в область выпрашивал, добивался, выбивал. О том, как он, договариваясь о фондах для завода, набил морду первому секретарю в его же кабинете, за что и получил искомый заём, ходила легенда вплоть до девяностых, а потом легенды сложились другие и эту позабыли. На самом ли деле Генрих вступил врукопашную или договорился миром, неизвестно. Эту историю поведал присутствующий при разговоре Журавлёв, но он мог приукрасить.

Тем не менее сказать, что песковчане все как один любили деятельного председателя, значило бы солгать, многие считали, «он под себя гребёт», не замечая, что своими руками всё добывал. Да и сыновья под стать отцу уродились.

Помимо того, припоминали Генриху поездку по путёвке за границу: «Как так получилось, что председатель по Венгрии разъезжает, больше других устал что ли?»

Вину ставили и попытки борьбы с пьянством. Генрих пьяных не терпел, лишал как начальник их премии. «А у них, что детей нет или жён. Он не того, кто выпил, премии лишил. Семьи их обобрал», — кто-то искренне верил в это, другие говорили из зависти.

Немало было тех, кто Генриху завидовал — отец у него с войны вернулся живым, жена — врач. Дом — полная чаша. Сам как конь здоровый. Ещё в газете про него писали — тоже был ажиотаж! Как-никак областная газета была!

Ну, и имел грех Генрих — тщеславным был. (Наверное, не тщеславный человек не замахнулся бы на написание романа). Сам того не замечая, он хотел везде быть первым. Первым оборудовал в доме туалетную комнату, первым живую изгородь посадил и самое худшее: первую красавицу увёл. И ладно был бы ловелас, красавец, балагур. Простили бы. А так толком ничего у него не было, только нахрап. За ней самые видные парни приударяли. А заарканил при помощи исключительно напора — одним словом, кузнец. Такое не прощают.

К тому же и сам Генрих, не давая зажить ранам завистников, зачем-то постоянно вспоминал 1957 год — первый фестиваль молодёжи, где он был единственный из Песковки! Попал он туда как спортсмен и секретарь комсомольской организации.

Забавно же то, что за те же качества, за которые ругали, выбирали и в председатели. За напористость, нахрапистость, чтобы выбивал, добивался, продавливал.

— Что я вам, Айболит, что ли. У меня без ежей дел хватает! Прекращайте реветь. Сказал вам, прекращайте.

Стуча кулаком по столу, отчего графин, позвякивая, подскакивал, упирался председатель исполкома:

— Хватит на жалость давить. Пионерки, это не дело! Я вам говорю ответственно: не дело это! Ежа мне только не хватало! Ежа мне подsunуть решили. Это вы зря. Не дело так.

Стоит ли говорить, что вечером Генрих возвратился домой с раненым ёжиком? Жена не удивилась и не протестовала, прекрасно понимая, за кем замужем. Она, будучи врачом, профессионально обработала рану, забинтовала туго, и ёж, прихрамывая, жил ещё несколько лет в председательском доме.

И вот вечерами, после таких рабочих будней, по истечении которых не то что писать, думать не хотелось — лечь на диван, взять в руки какой-нибудь роман Купера и читать по страничке в час максимум. Не смириться с усталостью помогала та самая боязливая мечта, с прижатым меж дрожащих лап хвостом, так сильно желающая узнать, каковы же ласки протянутой к ней руки. И Генрих Утемов, как бы сильно не изнемог, чтобы пописать хотя бы час, прихватив стульчик, запирался в маленькой кладовой, где у стены стоял ящик, служивший ему письменным столом, около стола бочонок с бараньим жиром, разного размера банки, в углу деревянная колотушка, такой и медведю можно по башке настучать, но используется она как пестик для уминания-утрамбовки капусты на засол, за спиной самолично выкованная лестница на чердак, под лестницей шарабан, пешня, шнековый ледоруб, рядом топор и почему-то сапёрная лопатка, на перекладинах выделанные лисьи шкурки, на стенах разноразмерная кухонная утварь: щипцы, овощечистка, лопатки, разделочные доски, половники, шумовка, дуршлаг, сито. Под потолком подвешенные пучки разных трав, какие-то веточки, венички, мешочки с сушёными ягодами, грибами, кореньями.

В таких вот условиях были написаны первые главы о заводе. Может оттого и получились они немного тесные, пахнущие полынью и пряностями.

Генрих пробовал писать на работе, но, между решением всевозможных задач, сосредоточиться на повествовании не получалось, да и времени свободного почти не было.

Дома на кухне совсем не дело. Кузнецкая душа протестовала. На кухне есть положено — не место там для писанины!

В спальне отвлекали дети, кот, ёжик, да и близость постели соблазняла сильно. Пробовал вечером, на час другой, оставаться в поселковом совете, но жена начала недобро подглядывать: «Не завел ли любовницу».

Вот он и запирался в кладовой. Тесно, но зато думать никто не мешает, да и пахнет приятно мхом и лесными травами.

Идей было столько, хватило бы на десяток романов, но, оставшись один на один с повествованием, он чувствовал, что слова упрямо не желают складываться в предложения, а вымученные предложения продолжают жить, как им нравится, не желая раскрывать утемовский замысел:

«Завод был основан в 1772 году, купцом Курочкиным» — и всё, а что дальше писать? В каком году основан написано, кем — тоже, больше ни убавить, ни прибавить».

Ещё и сыновья то и дело норовят заглянуть в отцовскую лабораторию. Дети, что с них взять. Им положено быть любопытными, назойливыми, нетерпеливыми.

Да и Генрих в отпрысках души не чаял, ему самому было не просто утерпеть. Велико было желание связаться в какую-нибудь игру с сыновьями.

Удерживала его с пером в руке на стульчике в кладовке мысль, что пишет и для сыновей. Вырастут: прочитают батюшину книгу. Думая об этом, Генрих и не сдерживал улыбку, время от времени глядел в щёлочку меж дверью и стеной, несколько секунд любовался сыновьями и, подзарядившись, продолжал писать.

И постепенно, как положено, упорство и труд приносили результат, подражая любимым авторам, Генрих выковывал своё собственное повествование.

Кузнец как никак, в пятом поколении. Упрямство по крови от деда, через отца, переда-лось.

Ну и что с того, что он председатель исполкома, в душе один чёрт — коваль. Он железу способен любые, какие только пожелает, формы придать, неужто слово не осилит.

Его, конечно, в горне не прогреешь, если что-то зазубрится, молотом не прижжёшь, щип-цами не оттянешь, в кадке не закалишь. Всё своими силами, без использования хитрых при-способлений. Но сил у Генриха на троих хватило бы, а упрямства и вовсе на полпосёлка. И впрямь кузнец. Однако не многие помнили его с молотом в руках у жаркого горнила. По сове-сти, не успел Генрих как следует поработать кузнецом и был скорее подмастерьем около отца, а уже с восемнадцати лет кузню и вовсе почти не посещал. Но он сын кузнеца, внук кузнеца — иную, нежели кузнецкую, душу иметь не мог, значит, и жил, и мыслил соответственно ей.

Он и сам, бывало споря, напоминал коллегам, что кузнец, а значит, если нужно, кулаком может стукнуть по столу так, что всем за ним сидящим мало не покажется.

Если бы не травма, вероятно, и не подумал бы о получении дальнейшего образования и не занял бы место председателя исполкома, а махал бы в кузне молотом и был бы счастлив.

Такой вот человек стал первым летописцем Песковского завода.

Глава 1. Кузьма и Евдокия

Медово-сладкой пеной парного молока на берег с поверхности парящего, словно дымящегося поля, озера тянулся туман. Обычно бледный, полупрозрачный, в те дни густой, тяжёлый и впрямь, как живая занавеска, скроенная из оставшихся лоскутов сновидений, в предрассветных лучах кое-где сияющий оранжевым, местами оранжево-красным, как древесные угли в печи, рывками, точно опасаясь не успеть, наплывал на берег.

А берег пологий, гибкий, аккуратен, как веко модницы, подведённый песчаной линией, чем дальше отступая от воды, тем больше пестрел разнотравьем, мелкоцветом ночным и всего в десяти метрах возвышался берёзовой рощей.

— Кузечка, тише, миленький!...

Вдыхая грудным шёпотом, какой бывает у совсем юных девушек, умирала она возлюбленного:

— Кузечка, любимый мой, — дрожа прикусывала, чтобы не закричать, собственные губы.

Самые прекрасные губы на свете. Таких губ не видал ни мавр, ни араб, ни лях, ни француз. Никто не видал.

С ними мог бы сравниться наплывающий на берег туман и, пожалуй, сам рассвет, придавший ему искристые тона. Более никто. Но губы эти не богини, не царицы, не сказочной девы-лебедь, а босоногой крестьянки, низенькой, щедрой телом и маленьким личиком с по-детски курносый носиком, с веснушками на румяных щеках, с глазами всегда испуганными, серенькими.

И только губы, местами потрескавшиеся от ветра, как будто не родные, словно всю картину изобразил ученик, и только губы мастерски вписал сам наставник. И это произведение гениального художника шептало и горело не для какого-нибудь бледного сановника или красномордого барина, не для сухого, как старый подклад, купца, а для загоревшего, точно изображение святого на старой иконе, мальчишки.

— Евдоша, сердце моё, душа моя, солнце моё, — самые нежные, какие только знал, слова, мальчишеским нескладным голосом шептал он в ответ, а туман, обычно равнодушный к людским страстям, всё стремительнее наплывал на берег, желая от злых глаз укрыть влюблённых. Как мог, оберегал такое чудо природы, каким являлся сам, каждый раз успевая.

Однако от людских глаз скрыть то, что на виду, не по силам ни утреннему туману, ни сарафану с фартуком.

— Насмерть заporю, суку. Будешь знать, как поперёк лезть.

Сквозь седую, без единого чёрного волоска, бороду бушевал старик, такой древний, что казался бы скорее мёртвым, чем обитателем нашего мира, если бы не голос, привыкший с детства повелевать и сохранивший каменную твёрдость.

На двор неуклонно, как ледокол на льды с громоподобным треском, наступал восемнадцатый век, всего-то девяносто лет оставалось, рукой подать, до отмены крепостного права.

Тем не менее сделанного, как и не сделанного, не воротишь, и старый помещик, злоупотребляя властью над крестьянами, оставляя за собой право первой ночи, жестоко карал нарушающих его.

Седовласый кровопийца, возможно, никогда и не узнал бы. Как никак возраст. Попыхтел бы час-другой и отправил молодую жену к мужу.

Если бы не раньше срока округлившийся живот. Ребёнок внутри, как и его отец снаружи, рос не по дням. Допытаться чьих, так сказать, рук дело, не составило труда. Не таясь, у всех на виду гуляли Кузьма и его Евдокия.

Возможно, обошлось бы, побили бы Кузьму как следует, чтобы другим неповадно было. Не сразу, но лет за десять выплатил бы откуп, раз уж чужое взял, а может помещик раньше помер бы, тогда и вовсе забылось бы старое.

Сводили бы Евдокию к повивалке, она бы уже решила, как дальше жить и кому.

Однако молодость всегда встаёт против несправедливости, как слепой котёнок, на уровне инстинктов понимая, что от этого упрямства зависит: жить ему или умереть, из всех своих сил проталкивается к кошачьей сиське, так и молодость на ощупь, ползком, но неизменно стремится к свободе, такова её природа, и иначе быть не может.

К несчастью, многие уже рождаются с дряхлой душой, как поражённый трутовиком тополь. Иначе никакого крепостного права не было бы никогда. Ведь молодость реки разворачивает вспять, сдвигает горы, через пустыни правит дороги, сжигает дотла города и из камня отстраивает целые страны, что ей какое-то там крепостное право — заноза под кожей. Всего-то зажать зубами и выдернуть, выплюнуть брезгливо.

Беглецов поймали через два дня у деревни Кугушерга в маленькой рощице под холмом, на котором позже построят церковь из кирпича, а за пятьдесят лет до этого борзые собаки гоняли не зверя — человека, на бегу отрывая мясо с его ног.

Вдоволь в тот день поглумились стремянные.

Когда падал, уже не в силах сопротивляться охотничьим псам, взбадривали ударами сапог, подгоняли бичом, выкручивали суставы, в завершении срезали кожу с пяток.

За всем этим заставляли наблюдать Евдокию, а когда та, сумев вывернуться, укусила одного из стремянных за руку, принялись и за неё. Выбили зубы, затем уже едва живую катали по земле,

И даже когда земля окрасилась в красный цвет под прилипшим к сведённым в судороге ногам подъябником, не остановились. Забавы ради наступали на лицо, самые находчивые с задорными выкриками: «Ну кусай! Кусай! Никак! Никак!» — пихали носки сапог в рот.

Превратили саму девушку в нечто грязное, мокрое, бесформенное, напоминающее внутренности забитой коровы, а самые красивые губы на свете произведения гениального художника в безобразную кровавую массу.

В последний раз, прежде чем окончательно потерять сознание, он видел её неподвижной. Она больше не сопротивлялась, и даже судорога уже не выкручивала ей ноги и позвонки.

Кузьма навсегда запомнил не её немного потрескавшиеся от ветра губы, которые каждое утро у озера ласкали его за туманной занавеской и не всегда испуганные, серенькие глаза, не детские маленькое личико, курносый носик на нём, и не усыпанные веснушками румяные щеки, а вывалившийся из ненормально широкого и страшного зева искусанный язык, неподвижные глаза с налипшими к ним кусками пыли.

Что кричал в последнюю минуту, сам того не помнил, вгоняя, меж тяжёлых ударов, пальцы в сырую землю, силясь доползти до тела любимой.

— Кто ж тебя так. За какой грех сотворить такое можно? — спрашивал ласковый голос. Прошёл день или целый месяц, Кузьма не знал, этот голос был первым, что он услышал после того, как умер. А в том, что умер, сомнений не было. Живыми после таких потрясений не остаются.

Прислушиваясь к голосам, Кузьма пытался вспомнить: борзые собаки выдрали ему глаза или позже сами стремянные выкололи.

А ласковый голос, несмотря на свой по-солнечному тёплый окрас, торговался хватко. За истерзанного парня отдал пять рублей и пару сапог. Окажись он и впрямь слепым, забрал бы вовсе бесплатно, но глаза, как оказалось, не видели из-за гематом и отёков, а связанные за спиной руки не позволяли разлепить веки при помощи пальцев. Глаза открыть, чтобы разглядеть

спасителя, Кузьма не мог, и куда его везут и для чего, не знал, а увозили его из родной деревни на строительство чугунолитейного завода. И если бы не это обстоятельство, то Курочкин не купил бы его в тот день, тогда и род кузнецов не возник бы на земле Песковской.

Вряд ли с ненужным товаром стали бы возиться, бросили бы в овраг, не забыв предварительно остриём ткнуть под лопатку.

Сочиняя первую главу, Генрих Утемов загрустил. За дверью, что отделяла его каморку от дома, шумели сыновья, жена время от времени делала им замечания, а глава семьи, уже неделю как сочиняющий первую главу для романа о заводе, про сам завод и словом не обмолвился и хуже всего, что пересказывая историю, которую слышал от отца, а тот в свою очередь от деда и так далее, не мог подтвердить её фактами.

Это был семейный миф, притча, в неё можно было только верить или не верить, доказывать её достоверность или опровергать: всё равно что с ветром спорить.

В письменных источниках сохранился лишь документ, подтверждающий, так сказать, куплю-продажу первого Утемова на невольничьем рынке в Яранском уезде и всё. Даже имя Кузьма нигде, кроме воспоминаний, не упоминалось.

Завершая первую главу, Генрих решил перечислить родословную своей ветки по мужской линии.

Первый Утемов был куплен у помещика Добрынина в 1771 году и сразу привезён на завод в самый год его основания. От него и пошла династия кузнецов. Все они переняли от предка не только профессию, но богатырское сложение, силу, любовь к природе, родному краю, свободе и, к несчастью, некое подобие родового проклятия, каждый из продолжателей рода переживал в юности потрясение, переходил некую черту, за которой наш мир уже не имеет силы.

Сын Кузьмы, Илья, родившийся в 1780 году, утонул и пролежал на дне местного озера, пока отец, по каким-то только ему понятным приметам, не отыскал сына и не вытащил на поверхность. После чего вода из него выходила ещё три дня, а в себя пришёл лишь через неделю, хоть потерял в памяти промежуток от самого дня, когда утонул, в дальнейшем жил обычной жизнью: отслужил в армии четверть века, женат был на женщине с именем Вера, семерым детям стал отцом.

Старшего сына Ильи, Михаила, родившегося в 1810 году, придавило упавшим деревом. Сколько он провёл в беспомощности, точно неизвестно, но с постели впервые поднялся только через полгода в день семнадцатилетия. К сожалению, про его жизнь более сведений не сохранилось. Возможно, ничего интересного более и не приключалось. Дата смерти и та затерялась, предположительно, 1870 год.

Нифонт, сын Михаила (1837—1908), на полном скаку свалился с лошади, нога застряла в стремени, и испуганное животное ещё несколько сотен метров протащило его. Всю оставшуюся жизнь он хромал на левую ногу.

Прокопий Нифонтович (1878—1931), если верить семейной легенде, под дубом, который позже получил название Утемовский, укрываясь от дождя, был убит молнией. Нашли Прокопия только наутро, бездыханного. Отец приказал под этим же деревом закопать сына в землю: «Земля жар заберёт, остудит внутренности». Помогло ли древнее народное средство, или Прокопий своими силами справился, но он не только пришёл в себя, но стал ещё здоровее.

Он, старший сын Нифонта, унаследовал кузницу, где и проработал всю жизнь. Летом в кузнице, а зимой на Песковском заводе.

Александр Прокопьевич (1902—1971), будучи пятнадцатилетним парнем, поссорился во время охоты с медведем. Он, как и все другие Утемовы, обладая богатырским сложением, сумел одолеть раненого зверя, но и сам был истерзан. Каким чудом остался жив, — загадка.

И Генрих, сын Александра, человека способного бороться с медведями, погиб летним вечером в саду Metallургов: не от удара молнии и не спасаясь бегством вместе с любимой, даже не сбитый упавшим деревом, а после тренировки в баскетбол, сильно уставший, забравшись на качели, свалившись с них.

Семь суток Генрих находился в коме. Эти семь суток он физически отсутствовал. Когда пришёл в себя, то увидел маму в слезах. Но и он выбрал вернуться из-за черты, где наш мир уже теряет свои силы.

Сыновья Генриха: Георгий родился в 1961 году, близнецы Константин и Александр — в 1965 году.

Перечитав родословную, Генрих загрустил ещё сильнее. Думал о том, что же за клеймо такое на их роду, неужели насмерть замученная Евдокия, проклиная стремянных, случайно перенесла часть своих страданий и на Кузьму, а через него и на всех Утемовых, или это её не рождённый ребенок так страшно спрашивает с отца, почему не защитил?

Неужели и его сыну суждено принять этот тяжёлый груз поколений? От этой мысли Генрих подпрыгнул со стула, до крови ударился головой о кованую ступеньку лестницы, перевернул полочку с разного размера мисочками, кастрюльками, но, не обращая внимания на струящийся по шее ручеек крови, судорожно ища по карманам коробок со спичками, твёрдо решил предать огню едва зародившуюся рукопись и, если бы не вовремя подоспевшая на шум жена, сжёг бы.

Окончание первой главы Генрих сочинил сильно позже, когда были написаны уже следующие двенадцать глав, всё боялся возвращаться к страничкам, впитавшим в себя капельки крови.

Оттого и выглядит окончание первой главы, оторванным от предыдущего повествования:

Что нужно человеку, чтоб быть кузнецом? Ну, конечно, здоровье в первую голову. Трудолюбие как везде. И талант. А как может быть иначе, если кузнечное дело — искусство!

Что значит талантливый кузнец? В огонь лезет, подручного чувствует. Всё как надо. Одним словом, работает богато, значит, по-кузнечному. Для него кузнечное дело стало смыслом, а потому прекрасный девиз любого творчества — учитель, воспитай ученика! — принят повседневным руководством к действию. От кузнеца, сына кузнеца, умелого скульптора по металлу.

Глава 2. Трудна ты, роль летописца

За написание второй главы Генрих не принимался целых два месяца.

Его рабочий кабинет в кладовой понемногу возвращал свой обычный облик склада для всего, что обязательно когда-нибудь пригодится, но чему в доме места нет.

Маленький стульчик, на котором Генрих заседал, перешёл жене, от рабочих будней врача у неё начали отекать ноги, и она вечерами, сидя на писательском стульчике, отмачивала их в тазу с отварами из ромашки, мяты и шалфея. Картина, вероятно, была любопытная. Изящная женщина с волосами, завязанными в пучок, подобрав повыше домашний халат, полоскает ноги в ароматной водице. Почему Генрих не требовал возвратить стульчик, понять можно.

Чтобы освободившиеся место зря не пропадало, туда встала фляга, заполненная засоленными огурцами, а на расчищенном ящичке-столе, где располагались черновики, заметки, выписки, коробочка с карточками, пенал для ручек, стаканчик с карандашами, поселились ванночки для стерилизации, скляночки, колбочки, пузырьки с пенициллином, прочие неопознанные медикаменты, жгут, бинты, многоразовые шприцы, зажимы и щипцы разных форм и размеров, корнцанги, ножницы и даже несколько скальпелей.

Все писательские снасти, уступив место медицинскому уголку, переместились в коробку из-под вентилятора «Ракета» и, ожидая творческого озарения, ютились в углу рядом с армейской скруткой сапожника.

Генрих оправдывал себя тем, что занят на работе: близилось двухсотлетие завода, нужно было не только организовать торжество, но и сам завод к юбилею отремонтировать, привести в соответствие с современными требованиями, помимо этого ежедневные, никогда не заканчивающиеся задачи, никто не отменял.

Люди, наплевав на юбилеи и реконструкции, продолжали со своими бедами тянуться к исполкому. На рукопись не оставалось ни сил, ни времени. «Зубы едва успеваю почистить», — говорил Генрих. Но это ложь. Он попросту испугался. Будучи человеком тщеславным, каждый раз кипел от возмущения, когда видел очередную изданную книгу по краеведению.

Ругал их авторов за однобокость, малограмотность, узость мышления. Обвинял в косноязычии, чрезмерной простоте. Терзал за путаницу, недостоверность, пренебрежение к мелочам.

— Нет, на этих коновалов рассчитывать, всё равно что зерно не снять, разбрасывая на поля с самолёта, — убеждал себя Генрих: — Эти писари-кесари и карту прыщей на собственной жопе зарисовать не сумеют, не то что составить полноценный краеведческий труд! Если не я, то как следует никто и не напишет о заводе так, чтобы по-настоящему и честно, зная.

За бравадой же скрывался страх потерпеть неудачу, оказаться на месте не того, кто критикует, а того, кого критикуют. Это ему, Генриху, будут говорить, что следовало бы не книги писать, а ослов подковывать, его собратья краеведы оттакают за чуб, спрашивая, почему в датах и топонимах кавардак, растерзают за недостоверность, неточность, путаницу. В довершении, за скудость языка, щёлкнут по носу.

Оттого, ссылаясь на занятость, и не заходил целых два месяца в свою сочинительскую кладовку Генрих.

Однако он продолжал, стараясь не вызвать подозрения, при помощи разных хитростей, собирать материалы для книги.

Иногда приходил под видом инспекции в краеведческий музей, в другие разы — якобы разыскивая сведения о предках, а сам цеплялся за любые упоминания о заводе.

Руководители музеев, во все времена голодные до людского интереса, конечно, не могли не замечать этих хитростей, но, радуясь вниманию к истории родного края, не донимали расспросами о мотивах, старались по мере возможности помочь.

Работа была нетрудной, но кропотливой. Приходилось копаться в подшивках газет, журналов, архивных документов, делать необходимые выписки и заодно изучать эпоху зарождения Песковского завода. Материалы, казалось, накапливались сами собой, незаметно и быстро, как пыль под кроватью. Оставалось все добытые сведения структурировать и изложить в едином повествовании. И вот так просто, из-за какого-то страха неудачи, всё могло пойти прахом, навсегда остаться в коробке из-под вентилятора.

Как-то одним летним вечером, переписывая в блокнот очередную карточку, он спросил себя: по силам ли ему эта задача? И не нашёл что ответить. Человек, готовый за заём для завода вступить в рукопашную с руководителем, решающий самые сложные задачи, привыкший выступать на публике, страшать, мотивировать, не мог найти решимости для написания следующей главы.

Видимо, на подсознательном уровне осознавая, все аксессуары, призванные облагородить срам: украшения, наряды, парфюмерия, грим — к лицу восточной блуднице, но никак не русскому писателю.

Генрих не желал заниматься искусственным украшательством. Для него солгать об истории родного края было всё одно, что за душу сторговать цену. Значит, иного выбора, как явиться перед земляками в своей собственной шкуре перед каждым, кто протянет руку к книге, не было.

И не просто явиться, но и разгуливать, произносить речи, тостовать, юморить, песни петь и всё ради того, чтобы люди, которым, возможно, и дела никакого нет до Песковского завода, узнали о нём, о роли в жизни всего края.

Но какова же главная идея книги? Какую проблему поднимать в первую очередь? Кого сделать главным героем? Самому выступить в этой роли? Купца Курочкина? Всех работников завода? Сам завод одухотворить? От этих дум у Генриха Александровича начинала болеть голова, и он переносил написание главы на следующий день-неделю. Вероятно, ещё долго, не один месяц, а возможно, и год, как то делает большинство сочинителей, обдумывал бы он форму, стиль, размер и ритм, находил бы отговорки, ссылаясь на занятость, проблемы со здоровьем, недостаточность материалов, хронический энурез и чесотку, но близость смерти, как ничто другое, побуждает списывать со счетов жизненных обстоятельств в пользу занятий по душе.

В один из четвергов, после вечернего совещания руководителей, Генрих лично отправился к Миките-сварщику. Тот пил уже вторую неделю и, соответственно, на работе не появлялся.

Однако никто, из непосредственного начальства, не горел желанием ссориться с подгловатовым сварщиком с пудовыми кулаками, настолько несговорчивым, что даже переехавшим из родной Украины, понимая: там точно, за все заслуги, прибудут. Сам он утверждал, что родом с Луганщины, но в Песковке поговаривали, что Микита-русин.

Так или иначе пил он вторую неделю, на работу не являлся, а зарплату продолжал получать.

Когда Генрих появился у ворот, жена Микиты сразу поняла, чем закончится разговор, и вместо приветствия побежала по соседям собирать ополчение. Самой ей никак было не разнять двух великанов. Один высокий, словно сосна, второй пониже, но коренастый, как дуб. Никакого диалога не могло сложиться не по причине весового равенства, а на основе внутренней разности и в то же время удивительной похожести.

Микита по-дружески мог бы поговорить душа в душу с кузнецом, посвоякаться с ним в простоте сердечной, поцеловаться по-родственному, выпить по-братски.

В свою очередь, и Генрих мог сварщику пойти навстречу, где-то даже пренебречь собственным упрямством, уступить, понять, проникнуться. Оба они любили людей физического труда. А помимо того уважали крепость, не только телесную, но и в характере.

К несчастью, от роду угрюмый, так ещё и пьяный, и глухой, хохол директоров любых видов, окрасов, размеров не терпел, испытывал к ним какую-то кровную ненависть и неважно: пьяные они, как он сам, или чище стёклышка.

Генрих, напротив, не понимал, людей вне партии. Желание идти вверх по ранговой лестнице, от рабочего до руководителя, ему казалось естественным, человеческим. Помимо того, пьяных не выносил. То, что трезвому могло сойти с рук, тому, кто под градусом, не спускалось.

Всех этих разъяснений жене Микиты не требовалось. Она, пока кузнец и сварщик обменивались крепким рукопожатием, уже собирала народное сопротивление.

Тем временем, не тратя попусту слова, кузнец и сварщик для начала обменялись ударами по рёбрам. Тяжеловесный украинец, не успевая за более подвижным вятичем отбить пару тумачков головой, но, следуя за врождённой хитростью, ловко носком кирзового сапога подцепил под голень ближнюю ногу маневрирующего соперника и, мгновение выждав, пока высоченный кузнец, потеряв опору, наклонится вперёд, криво, полумесяцем, как опытный косарь срезает траву на покосе, сбоку ударил кулаком по челюсти. Отчего Генрих сложился пополам, за что получил добавку в виде молоточка мягкой стороной кулака по спине, словно он не кузнец, а наковальня.

Удивительно, но в этот тяжёлый миг Генрих думал не о том, как бы остаться в живых, а вспомнил молодость, битвы за Ирину Константиновну, но от очередного тумача все воспоминания вылетели из головы. Под тяжестью собственного тела он пошатнулся и неосознанно пропустил мимо настолько щедрый удар, что от него сам Микита, завалившись набок, упал. Кузнец рухнул сверху.

Оба дышали тяжело. Генрих — от пропущенных оплеух, Микита не в силах избавиться от груза за спиной.

У Генриха мелькнула шальная мысль локтями разбить голову лежащего лицом в земле сварщика, но с молоком матери впитав: «Лежащих не бьют», ещё с полминуты пролежал на сварщике, переводя дух. Затем поднялся, накрепко ухватив за заднюю часть ворота, помог подняться и Миките и, не дожидаясь ещё какой-нибудь хитрости, продемонстрировал, в чём разница между кузнецом и сварщиком, так рубанул, что даже дуб не устоял, рухнул на землю и обмер, лишённый корней.

И пока жена сварщика собирала по соседям народное ополчение, проверил ощупью, все ли зубы на месте, умылся дождевой водой из корыта, носовым платочком почистил одежду, отыскал шляпу, которая странным образом закатилась под решётку летнего душа и, если бы Микитина жена не вскрикнула, вероятно, закатился бы туда и сам.

Очнувшийся сварщик вооружился лодочным шестом. Шест Микиты представлял из себя длиной шесть-семь метров жердь, напоминающую скорее ствол среднего дерева, нежели привычный перш.

Сумей он прикоснуться им до Генриха, то никакого романа о заводе не случилось бы. А сам Микита, вернувшись в хату, самогоном помянул бы сражённого, закусил диким чесноком и — вся песня.

Но, не дожидаясь второго окрика, Генрих отпрыгнул в сторону, перекатился и, вскочив на ноги, в секунду оказался около несостоявшегося гондольера.

Сжатой по-кошачьи ладонью ткнул его в лоб, в ответ получил коленом по животу, предплечье, в ухо — отозвавшись на это кинжальными ударами под рёбра, от которых сварщик, глухо ойкнув, начал оседать, успев намертво ухватить Генриха, уволок за собой на землю, где в пыли они продолжили взбадривать друг друга увесистыми колотушками и, если бы не подо-

спевшее под предводительством жены ополчение, состоящее в основном из стариков и баб, любопытных детей, то, так и не выяснив, кто прав, разделили бы на двоих погибель.

Разборонить упрямых великанов оказалось задачей не простой. Нужно было не только разорвать смертельную хватку, чтобы отнять их друг у друга, так ещё и не попасть под горячую руку.

Женщины, оттаскивая по сторонам поединщиков, взывали к совести, старики к разуму. А дети, напротив, подначивали. Искренне болея, кричали: «Дядя Генрих, дай ему! Под солнышко, под солнышко!» Другие: «Дядь Микита, держись. На кочергу его. Через себя! Бросай! Бросай!»

Какая-нибудь из матерей, выхватив из толпы своего ребёнка и оттащав за ухо, тут же возвращалась к сражающимся. Даже самая незначительная сила была на счету и могла стать решающей.

У каждого поединщика на руках, на ногах, на спине висели люди, но, не обращая внимания на груз, они, как ползущий сель, сминая всё на пути, мерно покачиваясь, продолжали угощать, уже совсем медленными, но по-прежнему щедрыми, под стать душам, тумакami. Каким чудом Генрих и Микита никого не зашибли, загадка.

К тому моменту они, то поднимаясь, то вновь падая на землю, разнесли забор, развалили деревянное корыто, опрокинули летний душ, состоящий из навеса и железного бака с водой, опрокинули на бок цыплятник, завалили несколько столбов для натяжки бельевой верёвки, сорвали с петель резные ворота и сломали молодые саженцы кустарников.

Цыплята, почуяв свободу, кто-куда разбежались, вода из душа самовольно вылилась, а бельё, вместе с директорской шляпой, втоптали в грязь разнимающие. Не напрасно, разборонить воюющих, несмотря на ограниченные силы, удалось. Было бы желание.

Генрих, присев на опрокинутый цыплятник, вновь ощупью проверил, все ли зубы на месте, сплюнул кровавую слюну. Не обнаружив по карманам платка, утёрся рукавом, сбил ладонью пыль с брюк. Микиту в порядок приводила жена, на его фоне маленькая совсем, как куколка. Она ладонями утирала с лица мужа кровоподтёки, умывала собственными слезами, не забывая в промежутках совсем недобро посматривать на обидчика. Имей её взгляд силу ранить, Генрих рухнул бы замертво. На его счастье, такой премудрости жена сварщика не обучалась.

И Генрих, отдышавшись, стараясь придать голосу как можно более спокойное звучание, обратился к Миките:

— Не появишься на работе, завтра снова в гости приду. Каждый день буду являться. Глядишь, как следует, подружмся.

Микита, видимо, не желая такой дружбы, ничего не ответил, но наутро, даже не похмеляясь, вышел на работу и в настолько безобразные запой больше не уходил.

А Генрих и вовсе принялся за дело, не дожидаясь рассвета. Всё тело ныло, дышать и то было мучительно, о том, чтобы откашляться или чихнуть, не хотелось и думать.

Спасала Ирина Константиновна. Помимо компрессов и примочек, используя женское чародейство. Её поцелуи обладали поистине ведьминой силой, о котором остаётся только мечтать самым технологичным препаратам. Прикоснувшись губами к ушибу, синяку, ссадине, они тут же снимали боль. Даже кулаки опухшие, напоминающие размерами два арбуза, страшно израненные, переставали болеть. Генриху же находиться в роли больного было неудобно и стыдно. Он, глава семейства, председатель исполкома, уважаемый человек, как школяр, вместо того, чтобы пригрозить сварщику увольнением или постановкой на учёт, вступил с ним в рукопашную. И хуже всего, осознавая все излишества и последствия подобных мер, не мог измениться в душе, опуститься до уровня, когда с честными и сильными людьми приходится говорить на казённом, чиновничьем наречии. Значит, случись что, Микита вновь или любой

другой не какой-то плут, а истинно рабочий человек, самый что ни есть народ, так или иначе выпадет с тропы в овраг, то и возвращать Генрих станет их на путь не при помощи запугиваний и унижений — больных бешенством псов бюрократии, а полагаясь исключительно на силу собственного креста. В конечном счёте, вокруг не чужие люди — свои все. Микита-русин — не исключение.

Но как подобное растолковать жене? Она хоть и любимая супруга, всё одно — баба. А Ирина Константиновна, ухаживая за мужем, и не думала корить его, в ней удивительным образом играли сразу две противоположные эмоции: тревога о здоровье супруга и какое-то по-девичьи сладкое удовольствие. Второе чувство, не в последнюю очередь, вызывалось воспоминаниями о временах, когда их любовь, готовясь расцвести, только начинала наливаться нектаром жизни, и она, совсем юный врач, приехавшая в Песковку не в поисках судьбы, а для трёхлетней отработки по распределению, впервые посещала дом Утемовых, чтобы ставить Генриху примочки и компрессы. Но Генрих не знал, какое удовольствие доставляло лекарствовать над ним. Вот и маялся от стыда и неудобства, не решаясь разбудить единственную, кто был способен унять в нём любую боль. Работа врача тяжёлая, изматывающая, весь день на ногах, значит, требующая полноценного отдыха, а не бдения у ложа дурака-мужа. Так, примерно, рассуждал Генрих.

Он и сам пытался уснуть, но, едва провалившись в сон, просыпался напуганный собственными стонами. Пугали даже не сами завывания, а эта безвольная слабость. Ему была она противна. Но во сне он власти над ней не имел. И хоть в голове продолжало что-то звенеть, а ноги ощущались ватными, решил записать мотивы, навеянные не то обрывками бредовых видений, не то двухмесячными размышлениями, не то Микиткиными пинками и зуботычинами.

Они-то и превратились в тело второй главы романа о заводе. Не ожидая утра, Генрих заперся в кладовой, сел на флягу с солёными огурцами, за стульчиком бежать было некогда, он мог заблудиться в путаных коридорах сознания, мысли необходимо было срочно за руку вывести на свет. Не теряя времени, смёл рукавом с ящика все ванночки, скляночки, колбочки, пузырьки, бинты, шприцы, зажимы, корнцанги. Они звонко рассыпались по каменному полу кладовой. Выволок из угла коробку с писательским инструментом, разложил всё необходимое, раскрыл тетрадь и начал писать:

Сперва завод был маленьким, робел о себе заявлять. Как трёхдневный телёнок, спрятанный коровой в траве, не решаясь встать на дрожащие ноги, лежал озябший и голодный, страхась мычанием позвать мать-корову.

Кто о нём знал, что он, прислушиваясь к каждому шороху, лежит в зарослях камыша? Никто, кроме коровы, собирающей в собственном вымени молоко жизни. Можно было пройти в метре и не заметить, настолько мал был он. Но, питаясь чистой энергией, рос стремительно, с каждым часом набирая силу. И, уже не желая лежать среди неизвестных зарослей, вставал всё выше на крепкие ноги, вытаптывая копытами землю вокруг.

А потом стал проявлять свой норов, характер, начал выставлять «рожки». Поначалу игриво и весело, но, уже проявляя свой склад зверя большой мощи, для человека пугающей.

Спустя ещё какое-то время, когда листья с лип и берёз уже опали, а в подстывших лужах отражались не пуховые облака, а свинцовые тучи, отстаивая право на тёлок, выпасные поля, вчерашний телёнок задышал громко, шумно, заревел басовито, в стороны разбрасывая куски земли, упёрся матёрыми копытами, от каждого шага заставляя землю дрожать, пошёл тяжёлой поступью дальше к берегу пруда, выпивая за раз тысячи литров воды. Каждым выдохом выпуская в небо не клубы, целые облака горячего пара.

Этот зверь, вскормленный бережно собранным молоком матери-коровы, спящий, никем не замеченный в бурьяне песковских полей, неожиданно, питаясь не луговой растительностью, а щипая, как травы, целые леса, восстал над прудом, речкой, берёзовой рощей, доставая до неба, оставляя на нём от рог царапины, сказочным исполином, ранее не виданным, в существование которого не верили, не осознавали возможность подобного наяву.

Выдавая, вместо молока, расплавленное железо, заскрежетал, загудел, завыл, возвещая о своей неизмеримой силе, стальной мощи хребта, огненной душе!!!

Преодолевая боль искалеченных рук, Генрих завершил вторую главу тремя восклицательными знаками и твёрдо решил раздобыть пишущую машинку.

Наутро Ирина Константиновна, помимо разрушенного медуголка и рукописной главы о заводе, перечитав которую, задалась вопросом: «Причём здесь, вообще, коровы?», обнаружила длинный синяк, как от удара прутом, на заднице мужа. Не поверив, что оставлен он от долгого сиденья на железной ручке фляги, пыталась Генриха подозрениями, но всё-таки от греха вернула стульчик.

Глава 3. О становлении завода

Третья глава летописи доставляет читателю сведения о первых железоделательных заводах:

Число их равнялось в то время 14-ти. На базе этих рудных месторождений, оформленных в 210 рудников и 86 000 десятин лесных угодий, Курочкин решил построить новый чугунолитейный завод. Он подал прошение в Государственную Бергколлегию на право постройки завода. В 1771 получил разрешение построить на берегу речки Песковки завод по производству чугуна на древесном угле.

Большие залежи железной руды, огромные лесные массивы, дешёвая гидроэнергия, практически бесплатная рабочая сила из собственных крепостных крестьян — всё это вместе взятое и помогло принять решение о строительстве завода.

Заводы работали исключительно на местном сырье, поэтому ни один из местных заводов не мог существовать без деревенских крестьян (жители заводов по своему сословному статусу тоже считались крестьянами), которые добывали для заводов руду, заготавливали дрова, выжигали древесный уголь, осуществляли перевозку грузов. Происходило это, как правило, с октября по апрель. Для нормальной работы заводов было необходимо, чтобы на одного мастерового приходилось по 4—5 человек крестьян, участвующих в заготовках сырья и топлива.

До 1807 года практически все деревни Красноглинской волости были приписаны к заводам, и заводские работы вменялись крестьянам в обязанность. Позднее отношения заводских контор с деревенскими строились на договорной основе. Вербовка крестьян осуществлялась при помощи задатков.

Сам по себе гнездовой распылённый способ залегания местных руд делал труд сотен крестьян незаменимым. В свою очередь соседство с заводами накладывало сильнейший отпечаток на жизнь крестьян.

Работая по 16—18 часов, крестьяне не были способны расширять свои наделы, обзаводиться большим количеством скота, повышать плодородие почв. Чаше хлеб они не продавали, а покупали. Своего же хлеба, как правило, хватало только до нового года.

Домны на Песковском заводе работали с осени до весны, а летом все рабочие занимались частным хозяйством, заготовкой руды, жгли уголь, рубили лес, выполняли ремонтные работы на заводе. Жители Песковки и окружающих деревень заготавливали руду на многочисленных рудниках в окрестностях Песковки в радиусе двадцати километров.

Генриха зацепила когда-то прочитанная фраза, что художественность исторического мышления — редкость из редкости, поэтому всячески стремился хотя бы факты представлять без выдумки.

Горные заводы разительно отличались от «мужицких заводиков». Здесь главной движущей силой была сила падающей воды, а не ручной труд. Для горного завода на какой-нибудь реке сооружали небольшой пруд. Под его плотиной строили цеха. Вода из пруда шла на водобойные колёса, которые

приводили в действие все заводские механизмы: воздушные насосы доменных печей и хвостовые молоты для дробления руды или отбивки криц.

Первым техническим сооружением на заводе стала доменная печь №1 «Абрамовская» производительностью до семи тонн чугуна в сутки, которая работала на холодном дутье. Воздуходувные мехи приводили в действие через систему труб водонапорной башни и водонапорного колеса с железными лопастями на нём. Вся же остальная система сделана из дерева. Сырьё — руду, известь и древесный уголь — на колошниковую площадку домны доставляли на лошадях по деревянному мосту, проложенному со стороны плотины.

И вот, когда это было собрано, подогнано, задышали воздуходувки. Тогда ожила, пожирая руду, древесный уголь и флюс, гигантская печь над открытым небом, неугасаемая на долгие десятилетия, домна. Из огнеупорного стакана горна вытекло до сотни пудов жидкого чугуна.

В 1779 году на заводе имелись 1 действующая домна и 2 молота: произведено 52,3 тысячи пудов чугуна и 2,5 тысяч пудов железа;

в 1783 году выплавлено чугуна 35,7 тысяч пудов;

в 1785 году — 47,8 тысяч пудов;

в 1786 году — 72,5 тысяч пудов.

Рост производства чугуна объяснялся появлением второй домны, что позволило одну домну использовать как запасную. Чугун в основном отправлялся на передел в Кирсинский железоделательный завод. Частично чугун использовался на передел непосредственно в Песковском заводе.

По заказу военного ведомства, в частности, в 1787 году приготовлено 1,5 тысячи пудов бомб, отправленных в Калугу.

На заводе производилось и чугунное художественное литьё. Причины возникновения чугунного художественного литья на Песковском заводе весьма будничны, а именно — необходимость удовлетворить самые насущные потребности промышленности Вятской губернии и местного населения. Поначалу в художественном литье преобладали крупные формы: узорные плиты для пола, решётки для оград и ворот. Первый опыт Песковский завод получил, выполняя губернский заказ по поставке чугунных плит для полов зданий присутственных мест и Кафедрального собора в Вятке.

Среди первых чугунных изделий завода были и предметы домашнего обихода, печные заслонки. Достоверно известно, что в 1788 году на заводе были отлиты лестничные марши для зданий губернских присутственных мест в городе Вятке. Это был крупный архитектурный заказ.

Аккуратно переписывая все собранные сведения о первых годах работы завода, Генрих решил, что вслед за ними нужно изложить и всё известное о его основателе, о человеке, чей ласковый голос вытаскивал из тёмного мира мёртвых предка всех Утемовых, о котором он слышал с детства, от родственников, в школе, на экскурсиях в краеведческом музее да и просто где-то в случайном разговоре на улице или в магазине.

Генрих, как и большинство жителей края, с раннего детства был знаком с фамилией «Курочкин». Нередко слышал о нём хорошие слова, сводились они в основном к тому, что не хватает сейчас таких людей, хватких, деятельных, земля под которыми горит, но чаще Курочкина называли кровопийцей, почему-то кулаком и множеством нелитературных слов.

На удивление и те, кто хвалил основателя завода, и те, кто ругал, ничего о нём не знали и узнавать не стремились. И похвалы, и укоры относились не к самому Курочкину, а скорее к такому ненавистному в народе сословию купцов.

Генрих тоже ничего не знал о Курочкине, но слыша его фамилию, плевался. На уровне генов не любил он людей, во всём для себя ищущих выгоду.

Однако из песни слов не выкинешь, не мужик простодушный основал горячо любимый завод, а прижимистый купец. Потому хочешь не хочешь, составляя летопись завода, нужно описывать купца, узнавать, какой он был человек, какими глазами смотрел на мир, во что верил. Генриху удалось узнать немного: его жизнь богата в основном внешними событиями, то есть посвящена, если можно так сказать, увеличению денежного состояния и в качестве занятия по душе многочисленными судебными тяжбами. Он всё время судился. Вот такой неугомонный был!

Неизвестно, только ли в любви к накопительству и сутяжничеству проявлялась неугомонность характера или, как и положено человеку, рождённому в страстный 1725 год, в целом был пылкий душой.

Как бы то ни было: к 1770 году купец владел четырьмя железными заводами, расположенными на Вятской и Вологодской землях, долей суконной фабрики в Сибири, а также кирпичным заводом в Устюге.

Сидя в кладовой, Генрих перебирал веер из карточек с теми немногими сведениями, которыми располагал, но как ни раскладывай, пасьянс не собирался. Курочкин продолжал оставаться купцом, заводчиком, как бы это смешно ни звучало, мифическим персонажем, но никак не человеком с мечтами и страхами.

Даже его строительство завода укладывалось всего в десяток простых предложений, которые при желании и вовсе можно сложить в одну фразу: «Купец Курочкин в 1771 году построил завод». Вот так вот, взял и построил. В 1770 году ничего не было, а год спустя — завод стоит! Как по взмаху волшебной палочки.

А ведь если вдуматься в то, что стоит за этим «волшебством», представить строительство завода с самого его начала и до момента, когда расплавленное железо потечёт гибкой рекой, окажется, что целые жизни, многие судьбы вложены в фундамент чугунолитейного завода. Возвести одни лишь стены, такие высокие и толстые, что Зимний дворец позавидовал бы, уже задача для обычных людей непосильная, но не для крепостных. Они всё сдюжат. А каково протянуть между стенами перекрытия, деревянные балки размером с адмиралтейский шпиль, которых насчитывалось полторы сотни? Поставить крышу на них такую, чтобы и под собственным весом не согнулась и тяжесть всевозможных агрегатов выдержала и все природные капризы?

Так ещё помимо возведения стен, цехов завода, необходимо было выкопать пруд. Сотни тысяч тонн земли вынуть из тела планеты и перенести, перевезти, перетащить к плотине. Всё при помощи собственных рук и ног, лопатами, ломами. С топором в одной руке и пилой в другой.

На месте завода рос вековой лес, а ближайшая деревня находилась в пяти километрах — это деревня Волоковые, раньше назвавшаяся хутором Холуйным. Речка Песковка — правый приток реки Вятки. Так вот: деревья по берегам Песковки срубили, а пни исполинские так и оставили, за невозможностью выкорчевывать. Затем речку перегородили, построили плотину и получили пруды: Верхний и Нижний. Поставили домну.

И это только начало. Первый этап, а за ним, чтобы завод мог дышать — бесконечные заготовки леса, древесного угля и, конечно, руды.

Изначально селение было совсем небольшим. В 1781 году на заводе было задействовано всего 48 рабочих. Среди них спасённый кузнец Утемов. А строили завод и того меньше.

Жили все в землянках без окон, на целый метр опущенных под землю.

И вот эти крепостные строили завод, вмерзали в лёд, по уши в снегу зимой, осенью в грязи, тащили на себе лес, руду, землю, жили впроголодь, всегда полупростывшие, замучен-

ные, собственной кровью вскармливая вшей и гнус, работали по 16—18 часов, чтобы спустя две сотни лет какой-нибудь любитель краевед мог в свой опус записать строчку: «Купец Курочкин в 1771 году построил завод».

А как звали тех людей, никто и не помнит. Наверное, потому что работали за еду и не мыслили требовать что-то ещё. Оттого-то вдвойне удивительно, когда кто-нибудь говорит, что Курочкин и ему подобные хваткие, деятельные, земля под которыми горит, являлись солью земли русской. Создавали колоссальные мощности для страны! И смешно и грустно. Для Василия и Марии, для Григория и Прасковьи, для Егора и Клавдии создавали, для тех людей, которые, в прямом смысле, умирали, возводя эти самые мощности?

Нет, конечно, для себя всё и только. К 1784/85 году Иван Курочкин и его сын Яков были купцами второй гильдии и имели капитал 3000 рублей. В 1787 году они уже купцы первой гильдии, а их капитал составлял 14 500 рублей. В том же году Курочкин был городским головой. В 1788 году капитал отца и сына составлял 15 000 рублей, в 1789 году — 16 000, а в следующие два года — по 17 000 рублей.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что крепостные, те, кто и являлся народом, были просто материал, используя который удобно и легко увеличивать капитал. А раз так, то и задаваться вопросом о том, какие там беды и нужды испытывает материал, всё равно что беспокоиться о душевном состоянии вырубленного по берегам речки Песковки векового леса, древнего, как сама Русь. Для купца и то и другое — всего лишь ресурс.

Первый каменный дом в Великом Устюге постройки 1765 года принадлежал также Ивану Курочкину. В то время как строители, работники завода, продолжали и рождаться и умирать раньше срока в землянках без окон, не сохраняя в памяти потомков не то, что крепких обычаев, но даже своих имён.

Ведь они редко доживали до полувека (шестидесятилетние считались невероятно древними стариками, почти бессмертными). В большинстве от болезней, нищеты, тяжёлой работы, постоянной жизни впроголодь умирали сильно раньше. К тридцати годам уже не имели ни зубов, ни твёрдости в костях.

Заботился ли Курочкин об их здоровье, физическом состоянии? Нет, не заботился. Но зато он построил завод, лил железо, создал рабочие места и в целом был человеком хватким, предприимчивым, энергичным, земля под которым горит. В полную мощь терзал землю, вынимая из неё руду, яростно вырубал лес, разогревая доменные печи, беспощадно загонял крепостных. Такому и памятник не грех воздвигнуть. За всё то, чтобы было человеку русскому хорошо жить на земле отчей.

Неудивительно, что Генрих плевался, услышав в разговорах фамилию купца-заводчика. Председатель исполкома родился в стране, где подобные Курочкину люди, занимающиеся накоплением денег, видя в собрате лишь один из видов ресурсов, гребущие только под себя, назывались буржуями, кровопийцами, в редких случаях хапугами, но никак не купцами или заводчиками.

Чтобы испытывать к ним уважение только оттого, что они имеют талант предпринимательский, организаторский, никто и не мыслил. Организовать строй, при котором людей возможно использовать как скот, а при необходимости и продать — тоже талант нужен. Однако никому и в голову не приходит восхищаться подобным дарованием.

Но как честный летописец, Генрих был вынужден записывать факты, а не собственные умозаключения:

В 1729 году на пути уральского железа, которое шло в Слободской и Вятку через Кай, встал Кирсинский завод.

Красноглинские земли, принадлежавшие монастырю, долгое время оставались лакомым, но недостижимым для заводчиков куском. Руду

в них добывали, а вот железоделательное производство налажено не было. Только в 60-е годы XVIII века, когда монастырские земли перешли в фонд государства, а крестьяне перешли из монастырских в разряд государственных (экономических), перед заводчиками открылось долгожданное поле деятельности.

Разведку и добычу здешних руд они начали ещё в 1747 году. Наличие железной руды («корчажника») и сведущего в горном деле населения создавало благодатную почву для появления в Омутнинских землях железоделательных заводов. Не отставал от заводчиков и новый владелец Кирсинского завода — купец первой гильдии из Великого Устюга Иван Курочкин. По его указанию крестьянин с починка Холуйного Устин Москвин начал расчистку места на правом притоке Вятки — речке Песковке.

Рабочие — в основном переселенцы из Архангелогородской и Вологодской губерний. Тому подтверждение и прозвище песковчан — «пикшееды» (пикша — морская рыба из семейства тресковых, но в широком смысле — морская рыба в отличие от речной). Коренные песковские фамилии — это Вычегжанины, Дряхловы, Минеевы, Москвины, Осколковы, Одяковы, Перваковы, Потаповы, Сюткины, Чувашovy, Цылевы, Утемовы, Казариновы, Катаргины и т. д.

Ко времени первого выпуска песковского чугуна (1772) владелец завода уже владел тремя заводами в Усть-Сысольском уезде, к которым прикупил Кирсинский. Завод на речке Песковке был сразу же задуман им как поставщик чугуна в Кирс. Совершенствуя технологию обогащения руд, экспериментируя с температурными режимами иковки металла, Курочкин стал выпускать высококачественное железо разных сортов и добился вытеснения с вятских рынков уральских промышленников. Кирсинское железо было вне конкуренции и на волжских рынках.

Краевед подытожил главу кратким описанием родословной основателя завода:

Семья Ивана Курочкина, купца Петропавловской полусотни, в 1763 году состояла из шести домочадцев: жена его звалась Александра Лукина дочь, урождённая Новоселова (род. 1732), мать, Васса Семёновна, дочь крестьянина Семёна Куклина (род. 1684), тётка Параскева Петровна (род. 1702), дети: сыновья Василий (2 года), Яков (5 месяцев) и дочь Мария (3 года). Эти сведения известны из документов Третьей ревизии.

Глава 4. О чём бы ни шёл разговор

Впервые Генрих задумался о написании летописи завода в 1960 году, с интересом читая пушкинскую «Историю Пугачёва». А именно шестую главу, в которой рассказывалось, как полковник Ступишин вошёл в Башкирию, сжёг несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками.

У Генриха волосы дыбились от этих строк. Читая следующие, он чувствовал, как хрустели кулаки от непонятно где доселе таившейся злобы: «5 мая, не имея ни одной пушки, Пугачёв штурмовал Магнитную, которую, несмотря на всю храбрость, взять не удалось бы, однако внутри самой крепости люди восстали и ночью, взорвав пороховые ящики, открыли путь для ополчения». О том, как идя Уральскими горами, спешил настигнуть Пугачёва бравый генерал с красивой русской фамилией Михельсон, Генрих читал, почти исплевавшись. А узнавая, радовался тому, что, не имея возможности достать нужные припасы, Михельсон истощал свои силы. Деревни были пусты. Башкиры, не желая помогать преследователям, уходили, забирая с собой всё, что только возможно. Так ещё и многочисленные отряды партизан, никак не связанных с Пугачёвым, без конца терзали его. Казалось бы бунтовщик, но вопреки всему, Генрих всем сердцем сопереживал Пугачёву, конечно, зная, чем закончится восстание, желал на страницах пушкинского сочинения буйному казаку одержать победу, и тот, слыша голос далёкого потомка, разбивал крепость за крепостью, разорял их и выжигал, а заодно грабил и поместья, и церкви, и заводы, вешал помещиков и военачальников, заводчиков и купцов, губернаторов и судей, дьяков и подьячих. И лишь у Троицкой от ещё одного человека с красивой русской фамилией Декалонг потерпел поражение в жестоком четырёхчасовом бою...

Будь возможность, Генрих, не дочитав шестой главы, вооружившись молотом, отправился бы на подмогу. Настолько горячие чувства разжигали в его душе простые пушкинские слова, но до Троицкой, где босоногие крестьяне, час за часом, насмерть бились с выученными, хорошо вооружёнными солдатами, лежало заболоченное поле шириною в двести лет. И Генрих не в силах преодолеть этого расстояния, скрипя зубами, продолжал читать: «13 мая башкирцы, под предводительством старшины, напали на Михельсона и сразились отчаянно; однако загнанные в болото, сдались. Все, кроме одного, насильно пощаждённого, были изрублены вместе с своим начальником. Михельсон потерял одного офицера и шестьдесят рядовых убитыми и ранеными».

Вслед за этой, кажущейся незначительной, победой потянулись липкой рекой другие, и скоро Михельсон настиг Пугачёва, нанеся ему одно за другим десятков поражений. Количество поражений не может не вызвать вопросов. Одно-два? Хорошо — три, но десяток? Как такое возможно? Любое другое предприятие от подобных неудач рассыпалось бы в пыль. Но Пугачёв, покачиваясь, как пьяный кузнец, не падал и на выпады отвечал своими тяжёлыми ударами. Войско Пугачёва постоянно пополнялось людьми, которых Пушкин в своём сочинении называл «разной сволочью», понимая: «иначе цензора в лице Николая I не пройти».

Помимо русских, присоединялись к ополчению калмыки, башкиры, казахи, марийцы, татары, чуваша, мордва, удмурты и т. д. На пике войско достигало колоссальных размеров. К несчастью для бунтующих, в основном это были полуголодные крестьяне. Удивительно то, что, естественно осознавая, что их противник и вооружён и обучен, они всё равно примыкали к Пугачёву, не имея совсем никакого оружия, в лучшем случае — топоры, вилы, дубины.

В таких условиях понятно, отчего, несмотря на преимущества в вооружении и выучке, Михельсон всё же истощил силы и был вынужден прекратить погоню. Иногда отвага и упорство всё же побеждают выучку. Таким образом, пока Михельсон пополнял запасы, Пугачёв шёл дальше от крепости к крепости, в целом имея успех и, переправившись через Каму, забрал

в разграбление винокуренные заводы Ижевский и Воткинский. В Венцеля, начальника оных, предварительно законопатив все отверстия, залили столько собственной бурды, сколько человек вместить не способен. После все работники присоединились к Пугачёву, и спустя скорое время все вместе вышли к Казани. На этом шестая глава заканчивалась. Пушкин составил ещё две главы, но Генрих так никогда их и не прочитал, не потому что остался разочарован краткостью слога или избыточной литературностью, напротив, будущий летописец Песковского завода и сам хотел бы так же просто и в то же время талантливо доносить информацию, но хоть книга в тёмно-зелёной обложке продолжала стоять в центре главной полки в домашней библиотеке, оставшиеся в ней главы прочитаны не были.

Генрих таким весьма находчивым образом дал Пугачёву возможность к отступлению, будущим победам, право самостоятельно выбирать путь, не согласуясь ни с автором, ни с читателем.

Но сделанные выводы позволили прорасти из тёмного грунта подсознания семенам мечтаний. На уровне интуиции Генрих предположил, что пострадавшие из-за восстания уральские заводы явились необходимым условием, без которого развитие металлургии на вятской земле было бы едва ли возможным... Емельян Пугачёв и его сподвижники громили заводы и крепости отчаянно, но бессистемно. Почти десятилетие «зализывали» раны побитые им заводчики, а в это время новые заводы Вятской губернии, улучив время, когда бывшие гиганты не способны им мешать, начинали подниматься.

Таким образом, сам, не желая того и не думая, Пугачёв дал возможность задышать заводам вятского края, которые имея в соперниках уральских гигантов, не поднялись бы.

Тогда-то размышляя о том, как весомо порой влияют на судьбы явления, на первый взгляд не связанные, в голове Генриха впервые возникла мысль о составлении жизнеописания завода. Хотелось не только самому узнать побольше о становлении родного завода, но с другими поделиться знаниями.

Порой поражаешься тому, о чём бы ни шёл разговор, куда бы ни тянулась нить повествования, как бы ни было горько, путанные паутины слов выводят не к солнечным лугам, а на пыльную тропинку, вдоль которой прорастают алыми соцветиями посеянные нищими следы босых ног, и, несмотря на кажущуюся одинаковость, принадлежат они и тем, кто сажает хлеб, и тем, кто ворует его, тем, кто молится богам, и тем, кто обдирает иконы, тем, кто собственным потом утоляет жажду родной земли, и тем, кто чужой кровью. Их всё больше, чем дальше убегают тропки в морозные леса. И чем крепче стужа, тем горячее полыхают эти следы. Когда босые ноги кровоточат от застарелых мозолей, а душа от вековой несправедливости, тогда сеятели не способны опустить в землю ничего, кроме семян диких костров, прорастающих безудержными пожарами городов.

Оставившие эти следы способны многое вытерпеть, самые сильные удары сдержат, но, когда отступать уже некуда, они идут не в омут, а к крепостным стенам.

Однако степень их терпения определяется не временем и не тяжестью эпох, не многотомными трактатами, манифестами, плутовской политикой, несправедливостью законов, а обычным окриком, мужицким возгласом: «За русский народ!». Оттого так страшны эти посевы, готовые лежать в земле веками, а взойти в одну секунду.

Не избежал этого и Генрих, плутая меж строгих, как штык сосен, ласковых, словно шёпот любимой, берёз, мудрых елей и простодушных лип, он вновь и вновь, сам не желая того, в хороводе дум, возвращался к лесу, где тропинка, засеянная следами нищих, выводит к елани у костра, на которой сидит грозный атаман, человек, умеющий видеть в обычном крепостном не сволочь безродную, а равного себе мужа, достойного носить бороду.

Там каждый присутствующий, разглядывая атамана в сполохах огня, пьянеет не от блеска украшенных золотом одежд и искрящихся драгоценностей, а от жуткого сияния диких глаз. И, жажда и трепеща, знает: иной фразы, кроме как: «За русский народ!», с губ его не слетит, не имеет права просто пройти мимо, обязан на призыв ответить однозначно: либо с восставшим народом, либо с теми, кто желает этому народу ярма, а непокорным отрезать уши, нос, пальцы на правой руке.

Наблюдая, как семена дождя, чтобы разразиться штормом, начинают крупными, но редкими каплями засеивать пыльную тропинку вдоль берега заводского пруда, Генрих, боясь и предвкушая первых трескучих залпов грома и последующих за ним водных шквалов, внутри готовился противостоять этому призыву остаться равнодушным к возгласам природы, вообразив, как с первым наплывом дождя укроется под навесом дома на Крестьянской улице, где исстари жила его прапрапрабабка Вера с семьёй детьми, а к тому моменту двоюродная сестра — Лариса. И, переждав бурю, огибая лужи и ручьи, продолжит путь. Но, как всегда, оказался не готов к переполняющему тело, сердце и душу восторженному маршу природы.

Ливень упругими жилами ударил в окна, в лица, зажужжал в проводах, зашумел в роще, загудел в трубе завода. Смешал всё: пыль и песок, грязь и камни, травы и цветы, зеленоватый звон пруда и густой гул неба, — в единый серо-фиолетовый узвар, из которого, была бы воля, можно вылить, как образа, подобные мыслителю Родена, так и Русакова. Была бы воля.

Не в силах сопротивляться ликованию природы, как можно прятаться под навесом крестьянского дома, когда само мироздание кружится в хороводе, Генрих вслед за ветром, по ожившей венами ручьёв дороге, помчал по Крестьянской мимо улиц Восточной и Западной, как всегда сильный и быстроногий, высокий, с кудрями чёрных волос, прилипших к жилистой шее. Он, сбросив с тела в одну секунду намокшую рубаху, не замедляя бег, обмотал её вокруг пояса. И полетел точно Алконост.

Пробегая переулок Жданова, в дали улицы Пионерской Генрих краем глаза заметил, как и там, не способный игнорировать восторженный марш природы, мужчина бежит под дождём наперегонки с ветром.

В тот миг и гром, и их сердца, и даже листья в берёзовой роще колебались в одном ритме, не признающем какие бы то ни было ограничения. А значит, пересекая улицы, Генрих ни о чём не переживал, не вспоминал, не думал. Генрих, мчась по улице Пионерской, был чист, как лист весенний, не связанный тревожными сомнениями, летел стремительно, как грозные тучи над заводским посёлком, и, отвергнув существование времени и расстояния, мог бы неустанно, пока такие же сильные жилы дождя упругими нитями тянулись с неба к земле, от земли за пределы неба, бежать наперегонки с ветром, каждым своим шагом разбивая юные лужи на тысячи древних созвездий.

Он был свободен, а значит, счастлив. Не согласовываясь ни с кем, даже с внутренними убеждениями, бежал не выбирая пути — куда упадёт отпечаток босой ноги, там и прорастёт пожарами городов. Этот выбор оставался и выбором всех предков, сидящих у одного костра на елани, а значит, был един и с душой, с природой, с миром.

Даже всем своим разумом, возжелав пройти иной дорогой, он всё одно вышел бы на эту засеянную следами нищих тропу.

Потому, оставив позади улицу Пионерскую, уже не боясь, предвкушал, всем своим сердцем грезил, что вместо очередного грозового раската над Песковкой громыхнёт всесокрушающее «За русский народ!» И не зная ни страха, ни смерти, нёсся подобный духу, летающему над водою, дабы неминуемо разразиться ослепляющим столпом света.

Запыхавшийся, мокрый, от дождя и пота, достигнув улицы Прокофьева, он ворвался в баню. Из мира дождей и ветров, без лишних ритуалов, вероломно перешёл в мир огня и пара, где его нежная и юная жена едва ли успела смягчить берёзовый веник. Не тратя времени на объяснения, он завалил раскрасневшуюся от жара женщину на полок, не целовал, обжигал

губами, не ласкал, как опару в ночь на Пасху, иступлённо месил, не жалея ни груди, ни бёдра, не любил, а точно фанатик вонзался в объект своей страсти.

Когда всё закончилось, они, свалившись с полка и не в силах отлепиться друг от друга, ещё долго лежали на полу в сплетении рук и ног, напоминая какое-то единое, но жуткое существо. Обливаясь потом, задыхаясь, раз за разом, обжигали друг друга жадными поцелуями, покрывая тела прилипшими к коже волосами. Он её чёрными, как самая тёмная ночь, она его рыжими, как рассвет над пшеничным полем. В тот день был зачат не только первенец, но и мечта о написании летописи завода.

Глава 5. На годовщину

Удивительно, как из обрывков древних традиций, не до конца понятых ритуальных обрядов, детских воспоминаний, желание вернуть в жизнь уже своё отжившее, складывается действительность, если её можно так назвать.

За два дня до годовщины Анне Захаровне приснился сон, в котором её уже десять лет, как почившая мать, сидя на скамейке около стены деревянного дома, чистила рыбу. Анна Захаровна, разглядывая маленький, сложенный из кругляка дом, задумалась о том, что очень давно не бывала в родной деревне Волоковые.

Покойная мать, прочитав мысли дочери, сказала ласково: «Рано тебе возвращаться». И, поправив фартук, продолжила обработку рыбы. Она была совсем молодая, не старше собственной дочери, и, энергично острым ножом снимая чешую, блестящую металлическими брызгами, радостно улыбалась кому-то, кто стоял за спиной Анны Захаровны, и кого та не могла видеть.

— Доча, нам здесь рыбу нельзя, — вздыхала покойница. — А я, знаешь, как люблю окуньков. Вот и чищу, как проклятая, — улыбаясь крепкими зубами, роптала она. — А сама-то и не снедаю. Возьми ты, доча, покушаешь и за меня тоже.

Но как бы ни старалась Анна Захаровна удержать в руках гибкую рыбу, никак не удавалось, та раз за разом, вывернувшись, возвращалась в деревянное корыто у ног покойной матери.

Она, не переставая снимать чешую, расспрашивала дочь о детях, сёстрах, не забыла упомянуть Ивана Осколкова, первого возлюбленного дочери, который одно лето каждые вечера, как на работу, возникал у окрашенных в синий цвет ворот их дома. И только судьбою полноценного супруга не интересовалась.

— Саша тоже в здравии с войны вернулся, — упуская очередного окуня, попыталась матери рассказать Анна Захаровна. Та отвечала, что никакого Сашу не знает, и вновь начинала сетовать, что рыбу им есть не дозволено, вот и приходится отводить душу, снимая чешую.

По пробуждении остались двойные чувства. С одной стороны, на душе было светло и радостно оттого, что мама в каком-то другом мире, но жива и счастлива, не зная болезней, сияет молодостью. С другой, огорчало, что выбор дочери, даже перешагнув за порог нашего мира, по-прежнему не одобряла.

Однако Анна Захаровна рассказала супругу сон, не утаивая подробностей. И человек, чьего имени тёща, даже после смерти, отказывалась произносить, без лишних разговоров отправился в гараж осматривать всю зиму повисевшую на канатах под потолком лодку.

Трёхклинная лодка-горбушка перешла Александру от отца, а тому от деда.

Весна 1953 года началась очень рано. Когда учеников в марте отпустили на каникулы, весь посёлок был в снегу. Особенно много снега было на крышах. Казалось, что дома под тяжестью белых шапок, вот-вот пошатнувшись, рухнут. Но вековые дома негибаемыми старцами, ожидая солнечных дней, стояли подпёртые лишь верой своих хозяев.

И эти дни, когда казалось, до трагедии осталось мгновение, настали. Солнце сияло так, что каждый, кто осмеливался взглянуть на него, ещё пару дней ничего, кроме кругов перед глазами, не наблюдал.

Не в состоянии сопротивляться этому напору снег через неделю весь растаял, помчались наперегонки друг с другом буйно-игривые ручьи, и к концу марта снег остался только в лесу, в тени самых старых деревьев.

Так что первого апреля вернувшиеся с каникул ученики пошлёпали в школу в тапочках, настолько было сухо.

Неугомонное солнце меньше чем за две недели сменило пейзаж из зимнего, заснеженного, на весенний, с изобилием ручьёв и луж, а затем на совсем летний, готовый вот-вот взо-

рваться пенным брожением трав, цветов, листьев. Но река, как ей и положено, разлилась в середине апреля, семнадцатого числа.

И за два дня до годовщины Александр Утемов заранее просмолённую лодку отвёз к Нижнему пруду и поплыл вниз по реке. Его сын на велосипеде поехал через деревню Волоковые на Исады, чтобы попасть на ту же реку. Где они договорились встретиться. Генрих к тому времени учился в 9 классе. Но уже отцу старался ни в чём не уступать. Юный, не по годам сильный, где не доставало опыта, добирал упрямством.

Когда он туда приехал, отец сидел на берегу около костра и кипятил чай, перевёрнутые вверх подошвой сапоги сушились на воткнутых в землю веточках немного поодаль, сам же мужчина, чтобы не застудить ноги, обмотал их плащ-палаткой. Выпив по кружке чая, два рыбака сели в лодку и переплыли на другой берег в Исадную курью. Там, на мелководье, уже не было льда, а значит, установке сетей ничего не мешало.

Генрих, пока отец краем весла удерживал лодку от дрейфа, расправил полотно, и, аккуратно опуская в воду грузила, распрямил подбор, пуская по течению оснастки.

В течение следующих нескольких месяцев это станет его обязанностью, не зависимо от капризов природы, каждые два дня проверять сетчатые ловушки, вынимать рыбу, чистить, ремонтировать, доставлять улов домой, разделявать его, подготавливая для засола и последующего копчения.

Но, естественно, в памяти сохраняется первый опыт, девственные впечатления. Оттого и все последующие приключения остались всего лишь рыбью на воде по сравнению с первоначальным штормом воспоминаний.

За день под чутким руководством Александра Прокопьевича поднялись по большой воде до речки Ждановки. При разливе подъём вдоль леса получается лёгким, так как вода делает водоворот и поднимается вверх. Там заглушили ещё две сети. Обрыв на реке в Чёрной прилуке десять метров, а омут глубиной четыре с половиной метра. Рыба ожидалась крупная и жирная.

Заночевали недалеко от Спиринского озера за рекой, около Романовой курьи и старицы под берёзами, в Чёрной прилуке, на плёсе повыше Котчихи.

Завалили сухую сосну, разрубили на двухметровые чурки, разожгли костёр. Генрих подвесил чайник, начал собирать ужин. Вынимая из котомки масло, сыр, хлеб, то и дело поглядывал на отца. Он, сидя напротив на оставшейся от сосны чурке, закурил.

Несколько раз Генрих почти решился сказать: «Бать, дай закурить», но и без того суровое отцовское лицо от жаркого костра краснело кривым шрамом, идущим от подбородка по левой щеке к шее, а оттуда на затылок — украшение, оставленное берложником.

Генрих к тому времени и сам уже видел медведя на расстоянии вытянутой руки. Знал не понаслышке, каков этот зверь вблизи.

Случилось это прошлым летом. Собирая грибы, вышел он на Плишкинскую дорогу, названную так по имени Стёпы Плишкина, который, желая полакомиться запечённым картофелем, выжег целую берёзовую рощу. Она состояла всего из нескольких десятков деревьев, оттого Стёпу мать оттащила как следует за чуб, на том наказание и закончилось. Стёпа, не осознавая своего везения, ещё долго сетовал на мать. «Как гуска щипала меня», — рассказывал он одноклассникам и, недоумевая, отчего те смеются, демонстрировал на голове два озерца, лишённые волос, но замазанные зелёной, размером с ноготь.

Стёпу жаль, естественно, но зато у местных появилась ещё одна байка и небольшой малинник.

На месте сгоревшей рощицы уже скоро разрослась малина. Кто её там укоренил, к сожалению, неизвестно. Вероятно, человек добрый, ведь росла она, не опасаясь ни засух, ни затяжных дождей. Пока в 1998 году неизвестный злодей не выкопал её всю. По сей день как только не ругают этого вредителя. И знать бы кто, — убили бы. Только это не вся правда. Истина в том, что не один год сами люди, те, которые ругают неизвестного, выкапывали кусты, развозили их

по личным садикам, переправляли родственникам и друзьям, торговали на рынке, а остатки малинника переломали, загадили, повторно сожгли и больше не укоренили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.